

ШАВЕЛ ТОПЕР, МОСКВА

*„НЕУТОМИМЫМ ДОЗОРНЫМ ЛЕТИТ ВЕСНА ПЕРЕД
НАМИ...“**

Имя Радована Зоговича советский читатель узнал в первые послевоенные годы, когда на русском языке стали появляться переводы его стихов. Зоговича переводили, его поэзию высоко ценили Тихонов, Асеев, Мартынов, Кирсанов, Полевой, Симонов, позднее и многие другие известные писатели, среди них — Слуцкий, Самойлов, Рождественский. Назым Хикмет посвятил ему большую восторженную статью. Мужественная поэзия Зоговича, полная пафоса борьбы и человечности, неожиданная по образам и ритмам, поэзия высокого трагизма и жизнеутверждения, стала, благодаря первым, еще немногочисленным переводам хорошо известна в нашей стране. Она была созвучна тому времени, словно пришла с полей войны, в которой бойцы Народно-освободительной армии Югославии сражались за те же цели, что и солдаты Красной Армии.

В стихах Зоговича, переведенных в те годы, мне больше всего запомнился образ дерева — непокорного дерева, упрямо растущего на открытой ветрам голой скале, на горном склоне. Стихотворение „Яблоня на ветру“ поставлено, словно нравственный манифест, в начале сборника „Упрямые строфы“:

Дикая яблоня! Выросла ты меж камнями,
и надо тебе в эту землю сухую вшиваться глубоко,
все силы собрав, надо цепко хвататься корнями,
чтоб ветви и листья насытить живительным соком
и завязь зачать...

* Написано на основе предисловия к изданию: Радован Зогович. Избранное в двух томах. М., „Художественная литература“, 1986. Название взято из стихотворения Зоговича „Письмо, отправленное через святого“.

Позднее я познакомился с Радованом Зоговичем и его семьей, много раз виделся с ним и в Белграде, и в Москве, был с ним в поездке на теплоходе по Волге на празднование столетия Максима Горького, которое проходило в городе Горький, наблюдал его вместе с его московскими друзьями — Тихоновым, Книпович, Рюриковым, вместе с Десанкой Максимович, многими другими, долгие годы переписывался с ним и понял, что стихотворение „Дикая яблоня“ написано, в сущности, о себе, и его можно рассматривать в одном ряду с автопортретами художников. Есть у Зоговича и повторения его в разные годы. С еще большим заострением, например, предстанет этот образ в стихотворении „Инструкция маслине“.

Понятие „инструкции“ не раз встречается в творчестве Зоговича, это понятие для него программное, за которым стоит вполне определенное понимание человека, условия его существования в этом мире и его долга, его ответственности перед самим собой и перед жизнью. Маслина, выросшая на каменистом обрыве, получает приказ — держаться и выстоять, несмотря ни на что, выжить, чтобы служить другим:

Корнем за камень! За серый и злой!
В переплетенье утесов, стоящих и свергнутых, как истуканы!
Тощие, битые, сжатые корни переплети и врой,
пальцы сожми и раскрой, словно клюв, и защелкни их,
словно капканы.

...Стòит! Хоть ради труда рыбаков,
масло твое ночную дорожку им высветит.
Ради трех капелек масла! Ради трех малых цветков!
Стòит выстаивать — стòит, чтоб выстоять!

Будет еще и стихотворение „Похвала грабу — маслине дилесов“, похвала за

то упорство, с которым, отчаясь,
ложкой роют подкоп каторжане и пилкой оковы срезают,

будут и другие стихи, в которых появится этот образ, родившийся еще в ранние годы, ключевой для всего творчества Зоговича.

Мне исподволь открывалось, что богатейшая образность поэзии Зоговича идет, как правило, от реалий крестьянского быта и крестьянского опыта, от деревенских представлений, „от земли“; в его стихах есть и „строки пашен“, и „двадцатистопники сгородов“, и „стеклянные санки двустий“. Недаром во всей его поэтике, от первых опытов до последних стихов, такую большую роль играет природа в ее чувственно-зрительном восприятии и само понятие „пейзажа“. Огромное место в его поэтическом мышлении занимают ветер, дождь, лес („Родня мне — деревья, травы, росистый камень — плитняк и ветер, зеленый

ветер — мой брат, на меня похожий...“). Кажется, в стихах Зо­говича можно найти все деревья черногорского леса: дуб, ель, сосна, ольха, граб, платан, верба, вяз, береза, вишня, явор, орех... Нет, не случайно видел он себя в образе упорного, лесного пло­доносящего дерева!

Иногда мне начинало казаться, что я знал Зо­говича очень давно, еще в годы его студенчества, подпольной работы, первых, запрещенных поэтических сборников. Потом я понял, откуда бе­рется это странное чувство — от необычайной пластичности, зри­мости, внутреннего динамизма его стиха. Неповторимая поэтиче­ская интонация Зо­говича складывалась из сочетания страстного свободолюбия и железной самодисциплины. О запрещении своих книг, которое молодой Зо­гович воспринял, кажется, как самое большое горе и самое большое оскорбление, испытанное им в то время террора и преследований, он писал так:

... В куче сырых поленьев спрятаны мои песни,
и когда не грозит мне обыск, не слыша своих шагов,
прихожу к ним, беру их в руки, очищаю от листьев
и плесени
и вижу: корежится рукопись книги моих стихов.

Какие это гневные и горькие строки! —
Первые мои критики не писали рецензий —
они были жандармами в форме и без формы.
За каждой строкой меня ожидал полицейский,
будто в руках у меня не стихи, а шнур бикфордов!

Сама югославская земля, ее прекрасная природа видится ему растоптанной кованым сапогом, как арестант в полицейском застенке:

Созревают и падают загорские синие сливы,
как разбитые челюсти,
лопаются стручки метохийской фасоли,
рассыпая белые зубы,
шелестят и темнеют над Вардаром алые маки...

Условия, в которых жил тогда Зо­гович, жизнь, полная ли­шений, несправедливости, неотступно давящая на сознание, дик­тующая свои жестокие законы, могла, конечно, сформировать человека на любой лад, но Радована Зо­говича она сформировала так, как только и можно было его сформировать, — закалила его неуступчивый, „черногорский“ характер, дала ему внутреннюю силу бороться за свои идеалы, сделала непримиримым к малей­шему проявлению оппортунизма. Его не раз называли „односто­ронним“. „Да, односторонний, каков есть“, — отвечал он, вкла­дывая в это полемическое заявление великий смысл внутренней стойкости и последовательности.

В центре огромного поэтического мира, созданного Зоговичем, стоит человек, которого нельзя сломить и который борется против обстоятельств не ради себя, а ради других, чтобы изменить эти обстоятельства к лучшему; он готов к смерти в бою и не страшится ее. Но суровый мир поэзии Зоговича пронизан мыслью о жизни и утверждении жизни. Он ненавидит смерть и никогда не ищет в ней прибежища ни от страданий, ни от горестных воспоминаний, ни от чувства безнадежности. Правда, в одном случае смерть может быть желанна — если она настигает борца за мгновение до прихода жандармов. В этом случае Зогович говорит со смертью на „ты“, словно помощницей и другом, как в стихотворении 1940 года „Непокой-поле“.

Утверждение героического действия наперекор насилию проходит через все, что создано Зоговичем.

Но замечательна полнота восприятия жизни, интенсивность чувства, живущая в герое его поэзии. Поостине, ничто человеческое ему не чуждо, и все человеческое выражено в нем с предельной, обжигающей страстью. Поэт, в начале творческого пути выступивший как с декларацией, со стихами о мозолистых руках рабочего класса („О, руки, усталые, связанные, отеческие, рабочие руки. . .“, 1930), всегда бывший аскетом во всем, что касалось условий существования, никогда не был ограничен в предмете поэзии и, тем более, не был узким фанатиком идеи. Поэт, считавший себя наследником черногорских традиций, согласно которым долг мужчины заключается в том, чтобы сражаться с врагами, создал поразительные по силе чувства стихи, обращенные к любимой женщине, которую ему посчастливилось встретить на совместных дорогах борьбы. Уже в первом сборнике „Упрямые строфы“ был раздел „Фрагменты о любви“ с эпиграфом из Пушкина: „Но я, любя, был глуп и нем“. В сборнике „Артикулированное слово“ (1965) — то есть ясно и твердо, без всяких околичностей выговоренное слово, — вспоминая прожитые годы (возвания, листовки, подполье, тюремные камеры, ночные марши, разлуки), поэт утверждает любовь, родившуюся в единстве с жизненным призванием, не противостоящую ему и не уводящую от страданий и забот большого мира, а накрепко связующую с ними („О любви“).

Название сборника „Личное, совершенно личное“ (1971) с этой точки зрения обманчиво; чувство поэта обнимает весь мир, и современность, и прошлое. В чеканных строках — поэтика этого сборника строже, чем предыдущих, стих в нем словно закован в железные латы ритма — Зогович еще раз декларирует свою кровную связь со всеми жертвами несправедливости, суеверия, невежества, террора во всей многовековой истории человечества — от шумерской арфистки, убитой согласно древнему ритуалу и похороненной вместе с ее умершей царицей, до греческого композитора Микиса Теодоракиса, томившегося в концлагере („Любая смертельная боль за многих, сущих в природе, ранит меня изнутри. . .“). Это и есть „личное“ для поэта („Прелюдия к ежед-

невному сну“). Но в этой же книге продолжает звучать нота высокого любовного чувства — не рядом с делом жизни, а вместе с ним — во многих стихах, в том числе в одном из шедевров современной лирики — стихотворении „Этого не забудешь“.

Есть „личное“ и в „Княжеской канцелярии“ — одном из самых замечательных творений Зоговича-поэта. Опубликованная в 1976 году, она имеет, несомненно, связь с тем интересом к отечественной истории, который широко распространился в шестидесятые-семидесятые годы. Я воспринимаю это произведение как историческое, в котором все компоненты — и стиль, и образный строй, и сам язык, взятые из документов того времени, — служат правдивому воспроизведению прошлой эпохи; но история в нем, преобразованная по законам поэтического творчества, имеет более непосредственную связь с мироощущением человека нашего времени, чем это обычно бывает в исторических романах, драмах или даже поэмах.

Зогович называет свою „Княжескую канцелярию“ циклом; каждое из вошедших в нее стихотворений самостоятельно, вместе они создают огромную фреску эпохи (композиционный прием, свойственный Зоговичу на протяжении всего его творчества, но нигде не выраженный с такой законченностью). Ощущение цельности в „Княжеской канцелярии“ возникает не из полноты описаний событий того времени (действия исторических лиц), а из столкновения крупно выписанных характеров, фигур, составленных многоцветную композицию. Каждое действующее лицо этой исторической трагедии говорит о своем, и каждому автор дает свой неповторимый голос, свою интонацию.

Князь Милош обрисован Зоговичем как двурушник-тиран, а его власть — как худшая разновидность самовластия, пресмыкающуюся перед более сильным хозяином. Он следует в этом за Негошем, назвавшим Милоша человеком, который „воплощает в себе все пороки отвратительнейшего тирана“ (эти слова стоят эпиграфом к „Княжеской канцелярии“). Но вот что важно. Милош всесилен, богат, султанская Турция ему верит, враги его повержены, недруги молчат. Двор трепещет перед ним, все его приближенные живут искаженной, сложной жизнью, где истинным чувствам нет места. Но почему он с такой жестокостью подавляет любое инакомыслие, любую искру протеста, которые вспыхивают все снова и снова? Потому, что и в минуту упоения властью в глубине души ему ясна ее непрочность. Обреченность тирании, ее внутренняя слабость показана Зоговичем в неожиданном ключе, эпическом и лирическом одновременно. Стихотворения-монологи, в каждом из которых слышен свой голос, то грозный то униженный, то просительный, то вкрадчивый, то льстивый, перемежаются небольшими „внеканцелярскими“ стихотворениями, звучащими совсем в другой тональности. В них царит природа, в них слышны трудовые и плясовые ритмы, мотивы народных песен, плачей, древних обрядов. Но это не просто фон, позволяющий нам увидеть выморочность „канцелярского существования“,

они говорят о беспредельной жизни природы и народной жизни, в которой идет своя работа, не приметно накапливаются силы, зреет „зловредное семя бунта“.

Лес, дождь и ветер — и здесь протагонисты действия, они говорят голосом автора. („А дождь — ни от визиря, ни от князя он не зависит, не отшатнулся он ни от Радича, ни от Молера, задушенных, из крепости выброшенных за стенд...“). Рядом с вечным бытием народа и природы, слитых воедино, становится ясно, что мир насилия, где царит произвол и кнут, неизбежно будет разрушен. Судьбы множества людей, с такой страстью представленных Зоговичем в „Княжеской канцелярии“, мы воспринимаем через эту его общую мысль.

Цельности и упорству зоговического характера, конечно, мы обязаны тем, что последний прижизненный сборник его стихов „Огонь, сохраненный на завтра“, стал новым мощным взлетом его таланта, новым свидетельством расцвета его дарования. В этом сборнике можно найти, как и во всем позднем его поэтическом творчестве, все сокровенные темы, с которыми он прошел по жизни.

О себе он говорит с тем же упорством, словами, которые нельзя забыть:

Сейчас, когда семьдесят минуло лет, голова в серебре,
ночами обдумывая свою жизнь, перегнувшись за край,
жалеешь о том, что сказать не придется на смертном одре:
меня не изменишь и не переделаешь. Чао. Прощай!

Но, может быть, периферия сознания, верней, его тыл,
частичка, кусочек какой-то упорно твердит:
а все же скажу перед смертью: остался, чем был,
меня уж никто никогда не изменит, не перекроит.

Мне лично кажется — может быть, от свежести впечатления, — что, вместе с „Княжеской канцелярией“, это самая сильная его книга.

Трем „вечным спутникам“, сопровождавшим его с молодых лет, посвящает Зогович в этом сборнике особые циклы — Негоцу, „гражданину черногорской свободы“, Данте, чей политический темперамент всегда был ему близок („Поэт — это Данте. Он призван затем, чтобы гнуснейшие папы в бесстыднейших позах ввергались в адский огонь по его команде“) и Маяковскому. Скажу несколько слов о Маяковском.

Маяковский занимает особое место в поэтическом мире Зоговича с самых ранних лет. Поэту-бунтарю, вступающему в литературу, приехавшему в Белград после далекой провинции, должна была быть близка судьба молодого Маяковского, оказавшегося в столичном, чиновничьем Петрограде накануне революции, ощущавшего себя борцом со всем косным и отжившим. Ему должен был быть близок и полный внутреннего напряже-

ния и контрастов стих Маяковского, глыбы его метафор, „весомость, грубость, зримость“ его поэтики. Маяковский отразился в жизни и в поэзии Зоговича необычайно полно и многосторонне; душевная ранимость и, в то же время, сила чувства, интенсивность и свобода его выражения — все эти качества поэзии Маяковского в неменьшей мере близки Зоговичу.

В поэзии Зоговича многое говорит о родственности с Маяковским, корни которой надо искать в общности судеб этих поэтов, творивших на переломе эпох и ставших голосом революционных масс, голосом социалистической революции. Но нельзя не заметить и того, что Маяковский оказал и непосредственное воздействие на становление и развитие его поэзии.

В стихах Зоговича живет и действует множество людей, мир его поэзии очеловечен в непосредственном смысле слова — он пишет о своих соратниках и друзьях по революции, о любимых писателях, о великих предшественниках; его поэзия умеет и любит рисовать людей. Но чаще всех в его стихах появляется, „как живой с живыми говоря“, Маяковский, начиная со стихотворения „Промокший платан“, имеющего подзаголовок: „Разговор с любимым поэтом и с самим собой“, написанном в 1939 году в туберкулезной больнице. Оно занимает особое место в творчестве раннего Зоговича. Это не только жизненный манифест борца, но и творческий манифест зрелого художника. В разговоре с Маяковским через понятие стихотворного ритма — сугубо поэтическое, „литературное“ понятие — определяет он свое место в жизни, свою связь с народом и революцией. Это выражено в замечательных образах:

Пусть будет их ритм уверенным шагом крестьянина,
шагом сеятеля пусть будет, когда он твердо по пашне идет,
и взмахивает рукою, и сыплет вокруг семена.
Пусть их ритм будет упрямым шагом людей,
гордых и храбрых в решительном марше к свободе,
когда крылья знамен над колонной начинают цвести.

Именно в разговоре с Маяковским обращается он, через головы современников, к Джуре Якшичу, Йовану Йовановичу-Змаю и Негошу, определяя свое место в национальной традиции; в разговоре с Маяковским он, полный сомнений в своих силах, излагает жизненное кредо, завершая его — как и сам Маяковский в „Юбилейном“ — на утверждающей ноте:

Ты мертв, ты бессмертен, меня ты поймешь:
во имя жизни — долой все мумии,
во имя жизни — живое да здравствует!

В стихах Зоговича, особенно ранних и первых послевоенных лет, нередко можно встретить прямые и скрытые цитаты из Маяковского, парафразы его крылатых выражений, даже фор-

мальное следование Маяковскому в рифмовке, в интонационной „лестничной“ разбивке строки. С годами таких непосредственных следов влияния становится меньше, но упоминаний, скрытых и прямых цитат даже больше, и Зогович сознательно обнажает их. Глубинное родство не уходит, ни в чем не подавляя яркой самобытности и неповторимости, признание Маяковского новатором, „впередсмотрящим“ звучит все сильнее.

Маяковский еще не раз появится в стихах Зоговича, будет он беседовать с ним и в тюремной камере („Если уж записывать сны...“), и в Москве, где предоставит ему самому слово (цикл „Маяковский у станции метро „Маяковская“). Итак — до последнего стихотворения в последней прижизненной книге, которое заканчивается строчками:

Нет! Славу, чины, дворцы — если бы я их имел, все, что
имею,
кроме смены чистого белья, карандаша и тетради,
я готов отдать, как отдается ненужный жести кусок,
за один-единственный знак пролетарской солидарности.

Никого Зогович не пропагандировал так упорно и с такой последовательностью, как Маяковского. Начиная с 1940 года, когда в журнале „Израз“ появились первые его публикации из Маяковского, в том числе „Стихи о советском паспорте“, он постоянно переводит его. Он — один — издал несколько книг переводов из Маяковского — примеров такого рода в мировой литературе не так много.

Говоря о Маяковском, мы, конечно, видим восприятие его Зоговичем вместе со всем, что связано с восприятием им Советского Союза, Октябрьской революции — от первых шагов в литературе и до последних дней. Меня всегда поражало ощущение личной причастности, придающее особую тональность всему, что Зогович писал о советской жизни:

Перед этой громадой земли я не просто объят
любопытством сторонним,
Я здесь не чужак равнодушный, не случайный зевака, не
лишний
Я себя, я свое проверяю. Все, от легких мостов и перронов
до ветвей и до черепицы на каждой новенькой крыше.

Поэзии Зоговича присущ высокий пафос, но она не любит громких слов. Ей ближе мысль о героизме повседневного, упорного труда, в котором рождаются великие завоевания, — это одна из сквозных идей всего его творчества, и поэзии, и прозы. В стихах, посвященных Советскому Союзу, она воплощается в необычных и смелых, очень личных образах. Свою поэзию он уподобляет землечерпалке на Волге, очищающей воду от грязи и готовящей чистый песок для строек. Он говорит, что когда ка-

ракумский канал даст электрический ток, в зажегшихся лампочках будет и его труд.

И, конечно, память об антифашистской войне. Есть у Зоговича замечательное стихотворение о павших советских воинах, похороненных на югославской земле, звучащее как реквием („Хоть им не дано воротиться“); есть стихотворение о брянских лесах, при виде которых он вспоминает партизанские леса Югославии („Я был здесь!...“). В партизанские годы Зогович, по собственному признанию, немного писал стихов (хотя среди них есть примечательные); но поразительны по силе его более поздние стихи воспоминания о военных годах и о боевом братстве. Такое стихотворение, как „Сухой, беззвучный шепот о лесах“, — это манифест патриотизма, пронизанный чувством личной причастности к родной земле и ее судьбе, которое дано только бойцу справедливой, освободительной войны: замечательные строки, так созвучные советской литературе о Великой Отечественной войне:

... Слушать ели, обнимать сосны медные возле Сухи,
власть глядеть, слушать вдоволь, когда раны и голод
в прошлое канут, как в сказку.
Разве мог я слушать леса, когда на ветру сухие ели-старухи
бились одна о другую, как солдаты мертвые, падая, бьются
каскай о каску? ...

В этих стихах-воспоминаниях время от времени появляется обычно ненавистное Зоговичу слово „сентиментальность“ („Оплаченное по таксе сентиментальное прошение“), ироническое по отношению к самому себе определение, призванное скрыть или хотя бы смягчить волнение, которое охватывает поэта при мысли о тех годах.

Характерно, что иронии такого рода в рассказах Зоговича о партизанском времени, в том числе и написанных от первого лица (их большинство) нет. В них чувствуется личный опыт, они биографичны по описанным в них событиям, по отношению к жизни; рассказчик — всегда человек „общей“, обыкновенной судьбы. Но образа в полном смысле автобиографического, то есть равного самому Зоговичу по силе мысли и чувств, в этих рассказах, нет, хотя нравственная дистанция между автором и повествователем невелика.

Мне кажется, что проза Зоговича едина с его поэзией — в ней живет то же понимание мира, тот же комплекс идей и тот же нравственный закон, но она нигде и ни в чем не повторяет его поэтические книги и не заимствует сюжеты у его стихов. Ее художественное значение самостоятельно. В то же время она дополняет наше представление о поэзии Зоговича, помогая увидеть ту среду, ту жизнь, ту поступь истории, которые породили ее свободолобивый и мужественный пафос.

Все, что написано Зоговичем — будь то в стихах или в прозе, в критике или в переводах, в публицистике или в научных

исследованиях, — пронизано его сугубо личным отношением. В поэзии это сказывается впрямую — почти каждое его стихотворение содержит нескрываемое, открыто выраженное „я“. Откровенная субъективность — и творческий принцип, и жизненное кредо Зоговича. И в то же время трудно представить себе писателя более социального и более исторически-конкретного в самом непосредственном смысле слова. Когда он говорит, что боль всего сущего, о какой бы стране ни шла речь, — это и его боль, он называет жертвы по имени. Они для него — современники, их страдания не дают ему спать. Совсем как у Маяковского — „Я где боль, везде“. Его интернациональное чувство обнимает весь мир.

...Я хотел бы, чтоб на остановке трамвая Калемегдан
видели все, как я вижу,
 Левского в петле. И турецкую саблю над бритой шеей князя
Симы.
 А когда объявит метеослужба: „В Вилюйске сорок градусов
ноля ниже“,
 я скорчусь, забеспокоюсь — как там Чернышевскому в
такие зимы?...

Когда он обличает преступное насилие, — он перечисляет „горячие точки“ современности по всей планете — американская агрессия во Вьетнаме, террор черных полковников в Греции, кровавый переворот в Чили. . . Когда он вспоминает героев и великие события революционной истории, дающие ему силы жить и бороться, — он пишет о них прекрасные стихи.

Последняя книга Зоговича носит — не сразу, но счастливо найденное — название: „Огонь сохраненный на завтра“ — поэтически сильный, народный образ-символ, говорящий о преемственности поколений, о передаче в будущее огня поэзии и огня революции, истинно зоговичевский образ, завещание поэта.

У меня есть эта книга с дарственной надписью: „Топеру, с любовью и желанием еще один раз увидеться. Радован Зогович. Бгд. 23. XII. 1985“. Надпись сделана за десять дней до смерти.

Увидеться не пришлось. Еще свежо сознание невосполнимой утраты, еще трудно представить себе, что созданное им надо называть „наследие“, что он в этом наследии ничего не изменит и ничего к нему не добавит. Трудно писать воспоминания, еще труднее спокойно разбирать его книги.

Только что вышло в Москве „Избранное“ Зоговича в двух томах; он знал о том, что это издание готовится, придирчиво следил за работой над ним. Выход „Избранного“ предполагался к 80-летию Зоговича, теперь оно оказалось первым изданием в Советском Союзе после его кончины. „Избранное“ представило советскому читателю в значительно большем объеме, чем до сих пор, его творчество, принадлежащее к самым замечательным явлениям литературы нашего времени.

Зогович — это одна из тех фигур истории, значение которых в перспективе времени не уменьшается. Вслед за Асеевым, назвавшим свою поэму „Маяковский начинается“, можно было бы сказать: „Зогович начинается“.

Павел ТОПЕР

НЕУМОРНИ ИЗВИЂАЧ — ПРОЉЕЋЕ ЛЕТИ ПРЕД НАМА

Павел Топер, познати совјетски књижевни критичар, у свом раду разматра поезију Радована Зоговића са два аспекта: њеног *преводиоца* и *тумача*. Те двије компоненте су комплементарне, преводићи Зоговићеве пјесме, Топер је не само боље упознао, већ дубље доживио и поезију и њеног творца, и тако створио основу да буде њен тумач.

Посебну пажњу је аутор посветио темама НОБ-а и личног односа пјесниковог према свијету патника и бораца, и — односа према Мајакоском.

Прилог II. Топера је значајан не само својом стручношћу, већ и тиме што даје представу како поезију Радована Зоговића доживљава инострана читалачка публика.

Pavel TOPER

A TIRELESS SCOUT — SPRING FLIES BEFORE US

Pavel Toper, a well-known Soviet literary critic, looks at Radovan Zogović's poetry from two angles: as its *translator* and its *interpreter*, the two roles being complementary. In the process of translating Zogović's poetry, Toper not only got well acquainted with it, but also obtained a thorough grasp of both the poetry and its author, thus becoming its qualified interpreter.

Toper pays special attention to the themes concerned with the People's liberation war and the poet's personal relationship to the world of fighters and sufferers, and to — Mayakovsky.

P. Toper's contribution is significant as a competent account of a specialist. Through him we also learn how foreign readers experience the poetry of Radovan Zogović.

